

〈отрывок; о русской литературе XVIII века как необходимой ступени в подготовке критического реализма XIX века〉

...Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной стороны, нисколько не преувеличивая дела по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, т. е. большинство читателей, за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются большею известностию, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая критика пользуется большим влиянием на мнение публики, или, лучше сказать, какая критика более сообразна с мнением и вкусом публики, как не та, которая стоит за натуральную школу против реторической? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имеющие между собою общего, в нападках на натуральную школу действуют согласнo, единодушно, приписывают ей мнения, которых она чуждается, намерения, которых у ней никогда не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, каждый ее шаг, то бранят ее с запальчивостию, забывая иногда приличие, то жалуются на нее чуть не со слезами. Что общего между заклятыми врагами Гоголя, представителями побежденного реторического направления, и между так называемыми славянофилами? — Ничего! — и однако ж последние, признавая Гоголя основателем натуральной школы, согласнo с первыми, нападают, в том же тоне, теми же словами, с такими

же доказательствами на натуральную школу и почли за нужное отличиться от своих новых союзников только логическою непоследовательностию, вследствие которой они поставили Гоголю в заслугу то самое, за что преследуют его школу, на том основании, что он писал по какой-то «потребности внутреннего очищения». К этому должно прибавить, что школы, неприязненные натуральной, не в состоянии представить ни одного сколько-нибудь замечательного произведения, которое доказало бы делом, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тем, которых держится натуральная школа. Все попытки их в этом роде послужили к торжеству натурализма и падению реторизма. Видя это, некоторые из противников натуральной школы пытались противопоставлять ей ее же писателей. Так, одна газета думала г. Бутковым уничтожить авторитет самого Гоголя...

Все это нисколько не ново в нашей литературе, но было не раз и всегда будет. Карамзин первый произвел разделение в едва возникавшей тогда русской литературе. До него все были согласны во всех литературных вопросах, и если бывали разногласия и споры, они выходили не из мнений и убеждений, а из мелких и беспокойных самолюбий Тредьяковского и Сумарокова. Но это согласие доказывало только безжизненность тогдашней так называемой литературы. Карамзин первый оживил ее, потому что перевел ее из книги в жизнь, из школы в общество. Тогда, естественно, явились и партии. началась война на перьях, раздалась вопли, что Карамзин и его школа губят русский язык и вредят добрым русским нравам. В лице его противников, казалось, вновь востала русская упорная старина, которая с таким судорожным и тем более бесплодным напряжением отстаивала себя от реформы Петра Великого. Но большинство было на стороне права, т. е. таланта и современных нравственных потребностей, вопли противников заглушались хвалебными гимнами поклонников Карамзина. Все группировалось около него, и от него все получало свое значение и свою значительность, все — даже его противники. Он был героем, Ахиллом литературы того времени. Но что вся эта тревога в сравнении с бурей, которая поднялась с появлением Пушкина на литературном поприще? Она так памятна всем, что нет нужды распространяться о ней. Скажем только, что противники Пушкина видели в его сочинениях искажение русского языка, русской поэзии, несомненный вред не только для эстетического вкуса публики, но и — поверят ли теперь этому? — для общественной нравственности!. Не желая шевелить старые дразги, мы удерживаемся от всяких указаний, но если у нас их потребуют, мы всегда готовы представить печатные доказательства. В одной критике на

«Графа Нулина» Пушкин обвинялся в неприличии, доходившем до цинизма! Перечитывая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на что она писана: так и кажется, что это сейчас написанная статья против какого-нибудь произведения теперешней натуральной школы: тот же язык, те же доводы, та же манера братья за дело, какие и теперь употребляются в нападениях на натуральную школу. Что же за причина, что противники всякого движения вперед во все эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и теми же словами?

Причина этого скрывается там же, где надо искать и происхождения натуральной школы — в истории нашей литературы. Она началась натурализмом: первый светский писатель был сатирик Кантемир. Несмотря на подражание латинским сатирикам и Буало, он умел остаться оригинальным, потому что был верен натуре и писал с нее. К несчастью, однообразие избранного им рода, грубость и необработанность языка, не свойственный нашей поэзии силлабический метр не допустили Кантемира быть образцом и законодателем в русской поэзии. Роль эта была предоставлена Ломоносову. Но как Кантемир все-таки остается человеком с необыкновенным талантом, то его и нельзя выключить из истории русской литературы, как первого по времени ее поэта. Поэтому мы вправе сказать, не искажая фактов и не делая натяжек, что русская поэзия при самом начале своем потекла, если можно так выразиться, двумя параллельными друг другу руслами, которые чем далее, тем чаще сливались в один поток, разбегаясь после опять на два до тех пор, пока в наше время не составили одного целого. В лице Кантемира русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть, основала свою силу на верности натуре. В лице Ломоносова она обнаружила стремление к идеалу, поняла себя, как оракула жизни высшей, выпренней, как глашатая всего высокого и великого. Оба эти направления были законны, и оба вышли не из жизни, а из теории, из книги, из школы. Но манера, с какою Кантемир взялся за дело, утверждает за первым направлением преимущество истины и реальности. В Державине, как таланте высшем, оба эти направления часто сливались, и его оды к «Фелице» «Вельможе», «На счастье» едва ли не лучшие его произведения, по крайней мере, без всякого сомнения, в них больше оригинального, русского, нежели в его торжественных одах. В баснях Хемницера и в комедиях Фонвизина отозвалось направление, представителем которого, по времени, был Кантемир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карикатуру, становится более натуральною по мере того, как становится более поэтической. В баснях Крылова сатира делается вполне художественною;

натурализм становится отличительной характеристической чертой его поэзии. Это был первый великий натуралист в нашей поэзии. Зато он первый и подвергся упрекам за изображения «низкой природы», особенно за басню: «Свинья». Посмотрите, как натуральны его животные: это настоящие люди с резко очерченными характерами, и притом люди русские, а не другие какие-нибудь. А его басни, в которых действующие лица — русские мужички? Не есть ли это верх натуральности? И однако ж теперь уже не упрекают Крылова ни за свинью, которая, «не жалея рыла, весь задний двор изрыла», ни за то, что в своих баснях он выводил мужиков, да еще заставлял их говорить самым мужицким складом. Скажут: то басня, то такой уж род поэзии. А разве законы изящного не одинаковы для всех его родов? Дмитриев писал тоже басни и в них изредка вводил, эпизодически, крестьян; но его басни, имеющие свои неотъемлемые достоинства, нисколько не отличаются натуральностью, и его крестьяне говорят в них каким-то общим, не принадлежащим исключительно ни одному сословию языком. Причина этой разницы лежит в том, что поэзия Дмитриева и в баснях его, так же как и в одах, шла от Ломоносова, а не от Кантемира, держалась идеала, а не действительности. Теория Ломоносова опиралась на древних, как понимали их тогда в Европе. Карамзин и Дмитриев, особенно последний, смотрели на искусство глазами французов XVIII века. А известно, что французы того времени понимали искусство как выражение жизни не народа, а общества, и притом только высшего, дворянского, и *приличие* считали главным и первым условием поэзии. Оттого у них греческие и римские герои ходили в париках и говорили героиням: *madame!* Эта теория глубоко проникла в русскую литературу, и, как увидим далее, следы ее влияния не изгладились совсем и до сих пор...

Озеров, Жуковский и Батюшков продолжали собою направление, данное нашей поэзии Ломоносовым. Они были верны идеалу, но этот идеал у них становится все менее и менее отвлеченным и риторическим, все больше и больше сближающимся с действительностью или по крайней мере стремившимся к этому сближению. В произведениях этих писателей, особенно двух последних, языком поэзии заговорили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти, чувства и стремления, источником которых были не отвлеченные идеалы, но человеческое сердце, человеческая душа. Наконец явился Пушкин, поэзия которого относится к поэзии всех предшествовавших ему поэтов, как достижение относится к стремлению. В ней слились в один широкий поток оба, до того текшие раздельно, ручья русской поэзии. Русское ухо услышало в ее сложном аккорде и чисто русские звуки.

Несмотря на преимущественно идеальный и лирический характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли элементы жизни действительной, что доказывается смелостью, в то время удивившею всех, ввести в поэму не классических итальянских или испанских, а русских разбойников, не с кинжалами и пистолетами, а с широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного из них говорить в бреду прокнут и грозных палачей. Цыганский табор, с оборванными шатрами между колесами телег, с пляшущим медведем и нагими детьми в перекидных корзинках на ослах, был тоже неслыханною дотоле сценою для кровавого трагического события. Но в «Евгении Онегине» идеалы еще более уступили место действительности или, по крайней мере, то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тем и другим, что поэма эта должна по справедливости считаться произведением, положившим начало поэзии нашего времени. Тут уже натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности, со всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими дразгами: около двух или трех лиц, опоэтизированных или несколько идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на посмешище, как уроды, как исключения из общего правила, а как лица, составляющие большинство общества. И все это в романе, писанном стихами!..